

Во весь голос

Автор:

Владимир Маяковский

Во весь голос

Владимир Владимирович Маяковский

«Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу» – так характеризует свое творчество сам Владимир Маяковский. Его поэтический стиль невозможно спутать с каким-либо другим: грубая, дерзкая рифма, строфика лесенкой, выводящая поэзию в плоскость графики и режиссирующая прочтение. Он так и жил, как настоящий художник, перенося искусство в повседневность. В сборник вошли стихи из поэтических циклов разных периодов, включая «Стихи об Америке» и «Париж».

Владимир Владимирович Маяковский

Во весь голос

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон

раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно

увидеть на зданиях синие тоги.

И раньше бегущим, как желтые раны,

огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —

плыла, изгибаясь, дверями влекома;

каждый хотел протащить хоть немножко

громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,

в глаза им улыбку протиснул; пугая

ударами в жезл, хохотали арапы,

над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

Утро

Угрюмый дождь скосил глаза.

А за

решеткой

четкой

железной мысли проводов —

перина.

И на

нее

встающих звезд

легко оперлись ноги.

Но ги —

бель фонарей,

царей

в короне газа,

для глаза

сделала больней

враждующий букет бульварных проституток.

И жуток

шуток

клюющий смех —

из желтых

ядовитых роз

возрос

зигзагом.

За гам

и жуть

взглянуть

отрадно глазу:

раба

крестов

страдающе-спокойно-безразличных,

гроба

домов

публичных

восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

Порт

Простыни вод под брюхом были.

Их рвал на волны белый зуб.

Был вой трубы – как будто лили

любовь и похоть медью труб.

Прижались лодки в люльках входов

к сосцам железных матерей.

В ушах оглохших пароходов

горели серьги якорей.

1912

Из улицы в улицу

у —

лица.

Лица

у

догов

годов

рез —

че.

Че —

рез

железных коней

с окон бегущих домов

прыгнули первые кубы.

Лебеди шей колокольных,

гнитесь в силках проводов!

В небе жирафий рисунок готов

выпестрить ржавые чубы.

Пестр, как форель,

сын

безузорной пашни.

Фокусник

рельсы

тянет из пасти трамвая,

скрыт циферблатами башни.

Мы завоеваны!

Ванны.

Души.

Лифт.

Лиф души расстегнули.

Тело жгут руки.

Кричи, не кричи:

«Я не хотела!» —

резок

жгут

муки.

Ветер колючий

трубе

вырывает

дымчатой шерсти клок.

Лысый фонарь

сладострастно снимает

с улицы

черный чулок.

1913

А вы смогли бы?

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых губ.

А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

1913

Вывескам

Читайте железные книги!

Под флейту золоченой буквы

полезут копченые сиги

и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей

закружат созвездия «Магги» —

бюро похоронных процессий

свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,

загасит фонарные знаки,

влюбляйтесь под небом харчевен

в фаянсовых чайников маки!

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

2

Несколько слов о моей жене
Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.

Моя любовница рыжеволосая.

За экипажем

крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.

Венчается автомобильным гаражем,

целуется газетными киосками,

а шлейфа млечный путь моргающим пажем

украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло

из глаз колодцев студёные ведра.

В шелках озерных ты висла,

янтарной скрипкой пели бедра?

В края, где злоба крыш,

не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:

ведь это ж дочь твоя —

моя песня

в чулке ажурном

у кофеен!

З

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.

А я гуляю в пестрых павах,

вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.

Заиграет вечер на гобоях ржавых,

подхожу к окошку,

веря,

что увижу опять

севшую

на дом

тучу.

А у мамы больной

пробегают народа шорохи

от кровати до угла пустого.

Мама знает —

это мысли сумасшедшей ворохи

вылезают из-за крыш завода Шустова.

И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,

окровавит гаснущая рама,

я скажу,

раздвинув басом ветра вой:

«Мама.

Если станет жалко мне

вазы вашей муки,

сбитой каблуками облачного танца, —

кто же изласкает золотые руки,

вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.

Вы приборя смеха мглистый вал заметили

за тоски хоботом?

А я —

в читальне улиц

так часто перелистывал гроба том.

Полночь

промокшими пальцами щупала

меня

и забитый забор,

и с каплями ливня на лысине купола

скакал сумасшедший собор.

Я вижу, Христос из иконы бежал,

хитона оветренный край

целовала, плача, слякоть.

Кричу кирпичу,

слов исступленных вонзаю кинжал

в неба распухшего мякоть:

«Солнце!

Отец мой!

Сжался хоть ты и не мучай!

Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дальней.

Это душа моя

ключьями порванной тучи

в выжженном небе

на ржавом кресте колокольни!

Время!

Хоть ты, хромой богомаз,

лик намалюй мой

в божницу уродца века!

Я одинок, как последний глаз

у идущего к слепым человека!»

1913

От усталости

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову

лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова

дай обовью я впалые груди болот.

Ты! Нас – двое,

ораненных, загнанных ланями,

вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,

мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,

может быть, мать мне сыщется;

бросил я ей окровавленный песнями рог.

Квакая, скачет по полю

канава, зеленая сыщица,

нас заневолить

веревками грязных дорог.

1913

Любовь

Девушка пугливо куталась в болото,

ширились зловеще лягушечьи мотивы,

в рельсах колебался рыжеватый кто-то,

и укорно в буклях проходили локомотивы.

В облачные пары сквозь солнечный угар

врезалось бешенство ветряной мазурки,

и вот я – озноенный июльский тротуар,

а женщина поцелуи бросает – окурки!

Бросьте города, глупые люди!

Идите голые лить на солнцепеке

пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.

1913

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светом адки?
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечеряющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже - скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913

Нате!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверевает, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

1913

Ничего не понимают

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный!

«Будьте добры, причешите мне уши».

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,

лицо вытянулось, как у груши.

«Сумасшедший!

Рыжий!» —

запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,

и до-о-о-о-лго

хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

Кофта фата

Я сошью себе черные штаны

из бархата голоса моего.

Желтую кофту из трех аршин заката.

По Невскому мира, по лощеным полосам его,

профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:

«Ты зеленые весны идешь насиловать!»

Я брошу солнцу, нагло ослабившись:

«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их мне на кофту фата!

1914

Послушайте!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,

целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную м?ку!

А после

ходит тревожный,
но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды

зажигают —

значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

1914

А все-таки

Улица провалилась, как нос сифилитика.

Река – сладострастье, растекшееся в слюни.

Отбросив белье до последнего листика,

сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,

выжженный квартал

надел на голову, как рыжий парик.

Людям страшно – у меня изо рта

шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,

как пророку, цветами устелят мне след.

Все эти, провалившиеся носами, знают:

я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!

Меня одного сквозь горящие здания

проститутки, как святыню, на руках понесут

и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!

Не слова – судороги, слипшиеся комом;

и побежит по небу с моими стихами под мышкой

и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

Война объявлена

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!

Италия! Германия! Австрия!»

И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:

«Отравим кровью игры Рейна!

Громами ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:

«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»

Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце – победе.

Громоздящемуся городу уродился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рта,
у злящейся на лбу вздуваются вены.

«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!

Италия! Германия! Австрия!»

А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914

Мама и убитый немцами вечер

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу газет.

Вплакались в орущих о побитом неприятеле:

«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма - а - а - ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,

и вдруг, —

надломивши тучные плечи,

расплакался, бедный, на шее Варшавы.

Звезды в платочках из синего ситца

визжали:

«Убит,

дорогой,

дорогой мой!»

И глаз новолуния страшно косится

на мертвый кулак с зажатой обоймой.

Сбежались смотреть литовские села,

как, поцелуем в обрубок вкована,

слезя золотые глаза костелов,

пальцы улиц ломала Ковна.

А вечер кричит,

безногий,

безрукий:

«Неправда,

я еще могу-с —

хе! —

выбрыцав шпоры в горячей мазурке,

выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,

мама?

Белая, белая, как на гробе газет.

«Оставьте!

О нем это,

об убитом, телеграмма.

Ах, закройте,

закройте глаза газет!»

1914

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,

и вдруг разревелась

так по-детски,

что барабан не выдержал:

«Хорошо, хорошо, хорошо!»

А сам устал,

не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.

Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка

без слов,

без такта,

и только где-то

глупая тарелка

вылязгивала:

«Что это?»

«Как это?»

А когда геликон —

меднорожий,

потный,

крикнул:

«Дура,

плакса,

вытри!» —

я встал,

шатаюсь полез через ноты,

сгибающиеся под ужасом пюпитры,

зачем-то крикнул:

«Боже!»,

бросился на деревянную шею:

«Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:

я вот тоже

ору —

а доказать ничего не умею!»

Музыканты смеются:

«Влип как!

Пришел к деревянной невесте!

Голова!»

А мне – наплевать!

Я – хороший.

«Знаете что, скрипка?

Давайте —

будем жить вместе!

А?»

1914

Я и Наполеон

Я живу на Большой Пресне,

36, 24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется – какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?

Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.

Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала, – набитый слезами куль, —
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.

Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерстневший разум.

Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!

Не надо!

Пусть не трясется!

Через секунду

встречу я

неб самодержца, —

возьму и убью солнце!

Видите!

Флаги по небу полощет.

Вот он!

Жирен и рыж.

Красным копытом грохнув о площадь,

въезжает по трупам крыш!

Тебе,

орущему:

«Разрушу,

разрушу!»,

вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,

я,

сохранивший бесстрашную душу,

бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,

сложите в костер лица!

Все равно!

Это нам последнее солнце —

солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.

Сегодня я - Наполеон!

Я полководец и больше.

Сравните:

я и - он!

Он раз чуме приблизился тронном,

смелостью смерть поправ,—

я каждый день иду к зачумленным

по тысячам русских Яфф!

Он раз, не дрогнув, стал под пули

и славится столетий сто, —

а я прошел в одном лишь июле

тысячу Аркольских мостов!

Мой крик в граните времени выбит,

и будет греметь и гремит,

оттого, что

в сердце, выжженном, как Египет,

есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!

Выше!

В костер лица!

Здравствуй,

мое предсмертное солнце,

солнце Аустерлица!

Люди!

Будет!

На солнце!

Прямо!

Солнце съежится аж!

Громче из сжатого горла храма

хрипи, похоронный марш!

Люди!

Когда канонизируете имена

погибших,

меня известней, —

помните:

еще одного убила война —

поэта с Большой Пресни!

1915

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

1915

Гимн судье

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца

были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груды!

Вино в запечатанной посуде...

Но вот неизвестно зачем и откуда
па Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.

Глаза у судьи - пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие - колибри;
судья поймал и пух, и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.

Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже

в запрете под страхом пыток.

Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.

А в Перу бесптичье, безлюдье...

Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.

Зря ему дали галеру.

Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

1915

Гимн ученому

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.

Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза,
ах, как букву жалко!

Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы – лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, выпаренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять ослабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять пригодишки

деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

1915

Гимн критику

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик – не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамыши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,

его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? – Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.

Он носом, хорошеньким, как построчный пяточок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услышал стук.

И скоро критик из и?мениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо – ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете – легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

1915

Гимн обеду

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,

кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

Военно-морская любовь

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарностью миноносьюему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьюему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

Теплое слово кое-каким порокам

(Почти гимн)

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь,
бухгалтер или бухгалтера помощница,
ты, чье лицо от дел и тощищи
помятое и зелёное, как трёшница.

Портной, например. Чего ты ради
эти брюки принес к примерке?
У тебя совершенно нету дядей,
а если есть, то небогатый, не мрёт и не в Америке.

Говорю тебе я, начитанный и умный:
ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель
ни строчке, ни позе, ни краске надуманной
не верили – а верили в рубль.

Живёшь утюжить и ножницами раниться.
Уже сединою бороду пе?ревил,
а видел ты когда-нибудь, как померанец
растёт себе и растёт на дереве?

Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,

вытелятся и вытянутся какие-то дети,
мальчики – бухгалтеры, девочки – помощницы,
те и те
будут потеть, как потели эти.

А я вчера, не насилуемый никем,
просто,
снял в «железку» по шестой руке
три тысячи двести – со? ста.

Ничего, если, приложивши палец ко рту,
зубоскалят, будто помог тем,
что у меня такой-то и такой-то туз
мягко помечен ногтем.

Игроческие очи из ночи
блестели, как два рубля,
я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий
разгружает трюм корабля.

Слава тому, кто первый нашёл,
как без труда и хитрости,
чистоплотно и хорошо
карманы ближнему вывернуть и вытрясти!

И когда говорят мне, что труд, и ещё, и ещё
будто хрен натирают на заржавленной тёрке
я ласково спрашиваю, взяв за плечо:

«А вы прикупаете к пятёрке?»

1915

Вот так я сделался собакой

Ну, это совершенно невыносимо!

Весь как есть искусан злобой.

Злюсь не так, как могли бы вы:

как собака лицо луны гололобой —

взял бы

и все обвыл.

Нервы, должно быть...

Выйду,

погуляю.

И на улице не успокоился ни на ком я.

Какая-то прокричала про добрый вечер.

Надо ответить:

она - знакомая.

Хочу.

Чувствую —

не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!

Сплю я, что ли?

Ощупал себя:

такой же, как был,

лицо такое же, к какому привык.

Тронул губу,

а у меня из-под губы —

клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.

Бросился к дому, шаги удвоив.

Бережно огибаю полицейский пост,

вдруг оглушительное:

«Городовой!

Хвост!»

Провел рукой и – остолбенел!

Этого-то,

всяких клыков почище,

я и не заметил в бешеном скачке:

у меня из-под пиджака

развеерился хвостище

и вьется сзади,

большой, собачий.

Что теперь?

Один заорал, толпу растя.

Второму прибавился третий, четвертый.

Смяли старушонку.

Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ощетинив в лицо усища-веники,

толпа навалилась,

огромная,

злая,

я, стал на четвереньки

и залаял:

Гав! гав! гав!

1915

Великолепные нелепости

Бросьте!

Конечно, это не смерть.

Чего ей ради ходить по крепости?

Как вам не стыдно верить

нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,

выдумал для шума стрельбу и тир,

а сам, по-жабьи присев на вал,

вымаргивается, как из мортир.

Ласков хозяина бас,

просто – похож на пушечный.

И не от газа маска,

а ради шутки игрушечной.

Смотрите!

Небо мерить

выбежала ракета.

Разве так красиво смерть

бежала б в небе паркета!

Ах, не говорите:

«Кровь из раны».

Это – дико!

Просто и избранных из бранных

одаривали гвоздикой.

Как же иначе?

Мозг не хочет понять

и не может:

у пушечных шей

если не целоваться,

то – для чего же

обвиты руки траншей?

Никто не убит!

Просто – не выстоял.

Лег от Сены до Рейна.

Оттого что цветет,

одуряет желтолистая

на клумбах из убитых гангрена.

Не убиты,

нет же,

нет!

Все они встанут

просто —

вот так,

вернутся

и, улыбаясь, расскажут жене,

какой хозяин весельчак и чудаки.

Скажут: не было ни ядр, ни фугасов

и, конечно же, не было крепости!

Просто именинник выдумал массу

каких-то великолепных нелепостей!

1915

Гимн взятке

Пришли и славословим покорненько

тебя, дорогая взятка,

все здесь, от младшего дворника

до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей

посмеет с укором глаза весть,

мы так, как им и не снится,

накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,

наденем мундиры и медали

и, выдвинув вперед убедительный кулак,

спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть – разинешь рот.

И взиграет от радости каждая мышца.

Россия – сверху – прямо огород,

вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза

и лезть в огород козе лень?..

Было бы время, я б доказал,

которые – коза и зелень.

И нечего доказывать – идите и берите.

Умолкнет газетная нечисть ведь.

Как баранов, надо стричь и брить их.

Чего стесняться в своем отечестве?

1915

Внимательное отношение к взяточникам

Неужели и о взятках писать поэтам!

Дорогие, нам некогда. Нельзя так.

Вы, которые взяточники,

хотя бы поэтому,

не надо, не берите взятки.

Я, выколачивающий из строчек штаны, —

конечно, как начинающий, не очень часто,

я — еще и российский гражданин,

беззаветно чтущий и чиновника и участок.

Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,

приникши щекою к светлому кителю.

Думает чиновник: «Эх, удалось бы!

Этак на двести птичку вытелю».

Сколько раз под сень чиновник,

приносил обиды им.

«Эх, удалось бы, — думает чиновник, —

этак на триста бабочку выдоим».

Я знаю, надо и двести и триста вам —

возьмут, все равно, не те, так эти;

и руганью ни одного не обижу пристава:

может быть, у пристава дети.

Но лишний труд — доить поодиночно,

вы и так ведете в работе года.

Вот что я выдумал для вас нарочно —

Господа!

Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,

берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачке
зажал сбереженный рубль бумажный.

Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.

Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!

У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.

Все это узлами уложим и свяжем,

а сами, без денег и платья,

придем, поклонимся и скажем:

Нате!

Что нам деньги, транжирам и мотам!

Мы даже не знаем, куда нам деть их.

Берите, милые, берите, чего там!

Вы наши отцы, а мы ваши дети.

От холода не попадая зубом на зуб,

станем голые под голые небеса.

Берите, милые! Но только сразу,

Чтоб об этом больше никогда не писать.

1915

Эй!

Мокрая, будто ее облизали,

толпа.

Прокисший воздух плесенью веет.

Эй!

Россия,

нельзя ли

чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,

хотя бы закрыв глаза,

забыть вас,

ненужных, как насморк,

и трезвых,

как нарзан.

Вы все такие скучные, точно

во всей вселенной нету Капри.

А Капри есть.

От сияний цветочных

весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег

забудем, качая тела в парюходах.

Наоткрываем десятки Америк.

В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,

а я —

вон у меня рука груба как.

Быть может, в турнирах,

быть может, в боях

я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,

смотреть, растопырил ноги как.

И вот врага, где предки,

туда

отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,

забыв привычку спать,

всю ночь напролет провести,

глаза

уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошетинясь, как еж,

с похмелья придя поутру,

неверной любимой грозить, что убьешь

и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,

крахмальные груди раскрасим под панцирь,

загнем рукоять на столовом ноже,

и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,

любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,

землю саму

зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,

новые звезды придумай и выставь,

чтоб, исступленно царапая крыши,

в небо карабкались души артистов.

1916

Ко всему

Нет.

Это неправда.

Нет!

И ты?

Любимая,

за что,

за что же?!

Хорошо —

я ходил,

я дарил цветы,

я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,

сшатался с пятого этажа.

Ветер щеки ожег.

Улица клубилась, визжа и ржа.

Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури

строгое —

древних икон —

чело.

На теле твоём — как на смертном одре —

сердце

дни

кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.

Ты

уронила только:

«В мягкой постели

он,

фрукты,

вино на ладони ночного столика».

Любовь!

Только в моем

воспаленном

мозгу была ты!

Глупой комедии остановите ход!

Смотрите —

срываю игрушки-латы

я,

величайший Дон-Кихот!

Помните:

под ношей креста

Христос

секунду

усталый стал.

Толпа орала:

«Марала!

Мааарррааала!»

Правильно!

Каждого,

кто

об отдыхе взмолится,

оплюй в его весеннем дне!

Армии подвижников, обреченным добровольцам

от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —

клянусь моей языческой силою! —

дайте

любую

красивую,

юную,—

души не растрочу,

изнасилую

и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!

В каждое ухо ввой:

вся земля —

каторжник

с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,

похороните —

выроюсь!

Об камень обточатся зубов ножи еще!

Собакой забьюсь под нары казарм!

Буду,

бешеный,

вгрызаться в ножища,
пахнувшие потом и базаром.

Ночью вскочите!

Я

звал!

Белым быком возрос над землей:

Муууу!

В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,

в провода

впутая голову ветвистую

с налитыми кровью глазами.

Да!

Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!

Молитва у рта, —

лег на плиты просящ и грязен он.

Я возьму

намалюю

на царские врата

на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!

Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи? став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.

Все шире разверзается неба рот.

Ночь

пьет за глотком глоток он.

От окон зарево.

От окон жар течет.

От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!

Опять

над уличной пылью

ступенями строк ввысь поведи!

До края полное сердце

вылью

в исповеди!

Грядущие люди!

Кто вы?

Вот – я,

весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый

моей великой души.

1916

Лиличка!

Вместо письма

Дым табачный воздух выел.

Комната —

глава в крученыховском аде.

Вспомни —

за этим окном

впервые

руки твои, исступленный, гладил.

Сегодня сидишь вот,

сердце в железе.

День еще —

выгонишь,

может быть, изругав.

В мутной передней долго не влезет

сломанная дрожью рука в рукав.

Выбегу,

тело в улицу брошу я.

Дикий,

обезумлюсь,

отчаяньем иссежусь.

Не надо этого,

дорогая,

хорошая,

дай простимся сейчас.

Все равно

любовь моя —

тяжкая гиря ведь —

висит на тебе,

куда ни бежала б.

Дай в последнем крике вырветь

горечь обиженных жалоб.

Если быка трудом уморят —

он уйдет,

разляжется в холодных водах.

Кроме любви твоей,

мне

нету моря,

а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.

Захочет покоя уставший слон —

царственный ляжет в опожаренном песке.

Кроме любви твоей,

мне

нету солнца,

а я и не знаю, где ты и с кем.

Если б так поэта измучила,

он

любимую на деньги б и славу выменял,

а мне

ни один не радостен звон,

кроме звона твоего любимого имени.

И в пролет не брошусь,

и не выпью яда,

и курок не смогу над виском нажать.

Надо мною,

кроме твоего взгляда,

не властно лезвие ни одного ножа.

Завтра забудешь,

что тебя короновал,

что душу цветущую любовью выжег,

и суетных дней взметенный карнавал

растреплет страницы моих книжек...

Слов моих сухие листья ли

заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916

Петроград

Надоело

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.

Сияние.

Надежда сияет сердцу глупому.

А если за неделю

так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,

роюсь в пиджачной куче.

«Назад,

наз-зад,

назад!»

Страх орет из сердца.

Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.

Вижу,

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/mayakovskiy_vladimir/vo-ves-golos

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)